

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

“Это горький рассказ, а если получится не горький, слава Богу...”

Лидия Сычева:

- Наша история иногда мне представляется огромным, изрядно покромсанным караваем. Хлеб мира. Вот и советское время - отрезанный ломоть. Еще раньше раскрошилась царская дореволюционность. И не срастаются куски. Будто мы разные - податливая форма под общественный строй, песочные куличики - то горбаты царизмом, то беременны коммунизмом, то лысые перестройкой.

Всё - правда. Но ведь есть совсем другие люди - в них ток вечного времени и страдания, о котором мы лишь смутно догадываемся. Валентин Сорокин - самый несоветский поэт из всех советских. Чужой для “громкой” поэзии, слишком сильный для “тихой”. Не сделавший двести десять шагов к заветным кормушкам - вчерашним и нынешним. Не предающий, великодушно-талантливый. Везде лишний - формальные друзья морщатся, заклятые враги - уважают. Ничего не боящийся - неужто от счастливой судьбы?

Слушайте, слушайте...

Валентин Сорокин:

- Почему я пришел к книге “Крест поэта”. (Книга о русских поэтах уходящего века. - Л.С.). Я считал и считаю: многие поэты погибли потому, что они не могли рассказать о том, что с ними происходило. Погибли придавленные обещаниями “не рассказать” или страхом перед “рассказать”. Это то, от чего должен был погибнуть и я. Вселенского масштаба этому не придаю - надо же, я мог сгинуть! Нет. Мое отношение разовое - мог погибнуть, но не погиб - спасибо господу Богу и матери. Но я устал жить с этой болью!

Шестидесятые, молодые годы. Родной Челябинск, мы с другом Славкой Богдановым слегка навеселе. Мне уезжать в Москву, на ВЛК. И человек нам навстречу - напористый, точный, решительный: - Валентин? - Валентин. - Сорокин? - Сорокин. Поговорили, походили, Славка ушел. Сели в кафе. Новый знакомый очень жесткий, сдержанный, я быстро это почувствовал. Показал мне удостоверение полковника госбезопасности. Стал выговаривать: что я выпиваю, что часто не то говорю, что нужно быть сдержанней... “Вы едете в Москву, там беспокойно, разные люди бывают - враги, предатели. Понимаете? Если что заметите, напишите мне письмо”. Я говорю: “Хорошо”. - “Запишите адрес...” - “Зачем же? У меня память хорошая...”

Прошло полгода московской жизни. Вдруг звонок - некий Эдуард Михайлович: “Надо встретиться”. “Пожалуйста, приезжайте”. Обыкновенный звонок, но какая-то тревога в моей душе запала. Приезжает этот Эдуард Михайлович, мы начинаем разговаривать, и я вижу: то же самое! Наконец он доходит до вопроса: “Почему не пишете?”

- А что я должен писать?

- Вы помните, у вас был разговор в Челябинске...

- Ну и что, я ничего никому не обязан, - очень свободно говорю, беседуем.

- А на ВЛК что вам нравится?

- Как рассказывают о Горьком, Пушкине, Гоголе, Есенине...

- К Евтушенко как относитесь?

- Нормально отношусь, но поэт он для меня не любимый, я люблю Василия Дмитриевича Федорова, - говорю и чувствую, что он вводит меня в круг, вводит и вяжет.

- А вот как вам Солженицын?

- Скажу то, что нашему проректору Тельпугову говорил: Солженицына надо избрать депутатом, дать ему лауреатство, премию, всё стихнет, и никуда он не уедет.

- Почему бы вам все это не написать?

- А почему бы вам не прийти к нам на партсобрание и все это не послушать? Я там больше скажу! Я никогда два лица иметь не буду. И писать ничего не буду. Ясно?

- Извините.

Но через несколько дней - опять звонок. И опять то же самое. Уходя, он мне говорит: никому ничего не рассказывайте, вам оказали доверие!

А тут приближалось 70-летие Хрущева, мы любили выпить, вэлкашники, у нас в общежитии была игра - за самую остроумную эпиграмму - бутылку водки ставили. Выпивали все вместе. Я читаю:

Вам - семьдесят, но столько благородства,

И столько вам энергии дано,

Что вся страна под вашим руководством,

Пустив пузырь, нащупывает дно.

Наутро звонок - опять Эдуард Михайлович, начинает мне выкручивать руки, говорит, что всё знает о моих проделках. Кончается всё тем же: напишите! Он стал звонить очень часто и приставать. Это стало меня так дергать, что в конце концов я не выдержал и рассказал обо всем Владилену Машковцеву - однокурснику и земляку. Он старше меня лет на семь, и тогда это была большая разница. Володя говорит: никому больше не рассказывай! Тут ходит один капитан, он многих с ума свел. Легенды, что поэты гибнут от белой горячки - многие выбрасываются в окна от страха. Страх рождает подозрительность, неуверенность и часто предательство...

Сейчас все это в прошлом и кому-то мои переживания могут показаться смешными. Кому-то. Но не мне. Вот если бы - я тогда уже понимал, - если бы я написал, допустим, даже на Евтушенко, - я бы точно повесился! Как это - человек стоит передо мной - а я на него донёс! Я бы обязательно повесился. Я просто смерть свою увидел!

Лидия Сычева:

- Он приехал в столицу с вдумчивостью и скромностью - это от озерной уральской стороны. С жаром и дерзостью - сбросив прокаленную мартеновскую спецовку. С восхищением: "Москва, соборов золотые главы..." С желанием служить своему призванию. Быть человеком долга и чести. Но мог ли он предполагать, что эти два понятия иезуитски разведены?

Валентин Сорокин:

- Эдуард Михайлович наловчился вызывать меня, когда я был с похмелья. И однажды у нас пошел такой разговор - я говорю: ну, вот Хрущев, предал ведь Россию! Отдал Украине Крым, разоружил армию, обидел Жукова, отнял пенсию у инвалидов. Продолжаю: это исторически? Он начинает уходить от такой беседы и видит, что я прав, и потом, я все-таки из рабочих, знаю рабочую жизнь. Более того, рабочая жизнь Челябинска она ведь не такая, как рабочая жизнь Москвы, она тяжелее в сто раз. Потом переходим от вопросов национальной боли к вопросам, так сказать, другой национальности. Я называю ему имена - кто владеет экраном, газетами, кто хозяин положения и почему русских так утопили в крови, бесправии и нищете. Он тогда теряется, и я вижу, что начинаю им овладевать.

Говорю ему: вот вы рассуждаете о России и доказываете, что, если бы я вам служил, я бы служил Родине. Но если я вам так нравлюсь, то берите меня в школу разведчиков и отправляйте за границу. Или вам такие не нужны?

Я был молодой, очень вспыльчивый, такой чистоплутый рабочий. Я весь измучился - мне казалось, что оттого, что со мной на эту тему - тему доносов - заговорили, - я уже мерзавец! Приезжает мой друг Кирилл Шишов из Челябинска, отец у него из репрессированных. Рассказываю Кириллу про свои дела и спрашиваю: тебя вызывали из-за меня в КГБ? Оказывается, да, еще до всех этих проклятых встреч. Из-за моих ходячих стихов как бы антисоветских. (Хотя они были не антисоветскими, они были красивыми русскими стихами). Значит, обо мне шла речь, как и о всяком другом. "Кирилл, - говорю, - тебе предлагали на меня писать?" Ну, разумеется...

В глазах КГБ я, конечно, антисоветчик. Как раз вышел значок скромный, обыкновенный, с единственным словом на эмали - "Русь". Я закупил, наверное, целый тазик этих значков, и мы с друзьями дарили их поэтам, которые читали стихи о любви, о России, о матери, о природе, о невесте... Общество любителей слова "Русь" было устным - наивный-то я наивный, но не глупец же! Значки расходились. И вдруг приезжает Слава Богданов, весь серый. Выпили, он начинает рассказывать: "Валь, меня арестовали, водили на допрос. Спрашивали про тебя, про значки. Говорили, что ты собираешься сбежать в Бельгию, что ты чуть ли не шпион". Боже мой, в Челябинске, в моем родном городе, где я десять лет отработал в мартене! С одной стороны, это меня насмешило, с другой - вылетели мои книжки из плана в Москве и в Челябинске. На долгие годы - на тринадцать лет - я стал невыездным. Когда наши диссиденты, эти московские румяные мальчишки, всхлипывали - "ах, меня не пустили!", я каждый год подавал заявление - что хочу поехать, то в Болгарию, то в Китай, то в США полететь, и регулярно получал отказ. Есть такой самый советский, почти секретарь ЦК ВЛКСМ, самый партийный среди нас

поэт, Ленин сегодня, это Андрей Дементьев, вот он свидетель, как меня выдворили из аэропорта, высадили из самолета. Но ведь я никогда не стал бы диссидентом - я бы погиб, но не стал! И сейчас мне зачитай, что расстреляют через час, - спасайся, садись в самолет, - не поехал бы. Пусть меня расстреляют, но на родной земле...

Но всё же я стал побаиваться - не бестелесный же человек. Тельпугов на собрании объявил как-то: Сорокин остается заведовать отделом поэзии в "Молодой гвардии". Но вскоре я понял, что моя несговорчивость дорого стала - дали понять, что не подхожу по всем статьям - скорее бы диплом в руки ему и пусть делает что хочет. И выяснилось, что ехать мне некуда. Челябинск предложил мне работать младшим сотрудником в многотиражке, в мартеновке нашей, в "Металлурге". Но, сами подумайте, во-первых, у меня семья, во-вторых, ВЛК за плечами, в-третьих, я автор уже многих книг, известный поэт, самый известный поэт на Урале из моего поколения. И такой хлопок по физиономии. В книге, которую сняли у меня в Челябинске, должна была идти поэма "Оранжевый журавленок", в ней я вывел многие наши мучительные разговоры, национальную боль нашу. Нашлась труженица, Рахиль Моисеевна (а у нас она была Раиса Михайловна), расшифровала все подтексты, почему журавленок, почему оранжевый; пришла в обком, что им и нужно было, хлопнула письмо в Москву, припечатала - "националист". Никак такому нельзя доверять отдел русской поэзии в журнале! Между прочим, Рахиль Моисеевна сейчас в Израиле, счастлива, что там будет проходить ее старость и что там будет похоронена. Кстати, и я счастлив за неё, и если бы они все уехали, я бы, наверное, и не заплакал ни разу по этому поводу...

Лидия Сычева:

- В 1965-м Евгений Евтушенко писал: "Быть бессмертным не в силе, // но надежда моя: // если будет Россия, // значит, буду и я". Националист ли он? Увы, провидец. Ныне бедует где-то в Америке.

Сорокин здравствует в России - и жена у него старая, и родина у него старая, и беда старая. Но - счастливый. В свои шестьдесят не надо отрекаться от двадцати двух:

О Русь, куда ни кину взоры,

Куда за счастьем не умчусь,

В твои озерные просторы

Хоть умереть, да ворочусь!

Диссидентские стихи-то. Не по тем временам. По нынешним.

Валентин Сорокин:

- Итак, дороги мне домой, в Челябинск, не было. Не буду же я себя позорить! Это если бы сейчас, допустим, Ельцин назначил меня сторожем какой-нибудь бани, я бы согласился - седого поэта уже не опозоришь. Тогда, конечно, легко меня было раздавить, а сейчас - книги мои и стихи не раздавишь, их много, как муравьев, и если бы даже Ельцин был медведем, он бы все равно их не передал - много!

Но то время для меня - оскорбленное чувство и затравленность. И тогда я стал рассказывать друзьям, что со мной происходит. Поделился своей бедой с братьями Сафоновыми - Эрой и Валея, с которыми учился: они - в институте, я - на ВЛК.

И снова меня стали дергать: зачем рассказываете? Я говорю: а почему я не должен рассказывать? Я не стыжусь, я себя защищаю перед вами. Как вам не стыдно меня губить - ведь оттого, что мне не доверяют, меня преследуют, что я должен носить перед вами какую-то тайну, от одного этого можно застрелиться! Почему вы об этом не думаете?! Если бы я сделал то, что от меня вы требуете, я бы давно был в земле! Я вам буду называть, кто умер: почему Дмитрия Блынского нет?! Почему Николай Анциферов умер? Почему умер Передреев? Почему вы никогда не задумались, что одна из тайн смерти - вот эта тайна?! Ваша инквизиция - глухонемая, кровавая, беспощадная, которая сразу же при первой публикации русского поэта на русскую тему является и обязывает его молчать и носить свою боль как тайну. Так я говорил.

Все это я пережил настолько тяжело, что у меня заболело сердце. Вообще-то я занимался лыжами, велоспортом и не был хилым парнем, которого можно взять за ухо и вывести из трамвая. А тут стал болеть, у меня начались приступы. Тревожусь. Злюсь. Думаю, - вот я, молодой коммунист, приду в райком, распахну дверь и выброшу партбилет, и расскажу, что со мной делают. Почему так? За что?

Раз вышел с лекции, иду, мысли все те же. Зайти в райком? Скажут - сумасшедший и отправят. Хотя я ведь друзьям все рассказал - не позор. Но я очень мать свою люблю, отца... Иду, размышляю. Стал переходить дорогу против Савеловского вокзала, и у меня очень забилось сердце, я посмотрел, а рука моя рябая-рябая, как будто ладонь черными семечками посеяли. Дошел до середины, увидел, что пошли машины и упал. Потерял сознание.

Очнулся в медпункте Савеловского вокзала. Укол сделали, хотят отправить в больницу. Начинаю их уговаривать, что решу всё сам. В конце концов меня привезли под родную крышу, в общежитие, и сдали на руки братьям Сафоновым, и еще с нами монгол учился, у него было медицинское образование. Состояние было тяжелое, и ребята поочередно дежурили у меня в комнате. Потом я прошел обследование в поликлинике Союза писателей, и мне сказали, чтобы я немедленно ехал домой и оформлял группу, инвалидность. Это из меня, мартеповца, за два года московской жизни сделать инвалида! Мне, конечно, очень сложно было с этим примириться.

Володя Машковцев, Сафоновы сообщили всё, что со мной произошло, домой. Приехала из Челябинска жена, забрала меня. Я лег в больницу, где работала сестра. У меня началась бессонница, страшная депрессия. Прошел комиссию, посмотрели врачи и сказали сестре: "Брат твой умрет, готовь мать и отца". Она в это так поверила, что начала потихоньку и меня готовить. Вообще по моим стихам всё это можно увидеть - как по крестам, кто когда умер. Кресты сохраняют свет времени. Вот так!

Лидия Сычева:

- Москва. 1965 год. Общежитие Литинститута по улице Руставели, 9/11, тесная комната, в ней Владлен Машковцев, Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, Борис Примеров, Сергей Хохлов. Стихи друг другу читают, спорят. Читает и Сорокин:

Когда умирает песня

Памяти Бориса Корнилова

О, военные гимны, -

Злые вихри ночей!

Я погибну, погибну

От руки палачей...

Тех, что славой прогресса

Забывая нам рот,

Сапогом и железом

Окрестили народ.

Реставраторы тюрем,

Кузнецы кандалов.

Ну-ка, друг мой, закурим,

Сдвинем чарки без слов.

Не порвать нам рубаху

Бунтарям на бинты.

Люди глохнут от страха

И своей немоты.

Но костры баррикады

Нам с тобой не пройти,

Все преграды, преграды

На кровавом пути.

Перепутаны цели.

Одиноко.

Темно.

Мы уже на прицеле

У Сиона давно.

Ко всему приготовясь,

Мы встречаем рассвет.

Ты - последняя совесть,

Я - последний поэт.

Валентин Сорокин:

- Стихи тридцатипятилетней давности, а звучат свежо и нормально.

Лидия Сычева:

- Нормально, нормально...

Валентин Сорокин:

- И вот я лежу в больнице и вижу, что сестра - не такая сестра, и родные - не те родные. Но упал я в Москве в марте, а приехал на Урал - здесь еще зима. В больнице был маленький спортзал, лыжи. Я пролежал две недели, и вдруг меня потянуло - к снегу, к морозу. Начал на лыжи становиться - раз пройду, два пройду, потом пробегусь, потом семь километров, потом двенадцать... Очень сдружился с главврачом, Олегом его звали, он мне очень помогал. Через месяц я стал брать почти ту же дистанцию на лыжах, что и до болезни. Потом Олег приходит как-то вечером, я ему говорю: "Давай напьемся!" Короче говоря, когда я вернулся в Москву, друзья не поверили - приехал тот же самый человек, сильный, окрепший, уверенный в себе.

От меня наконец-то отстали, по крайней мере на беседы больше не звали. Я рассказал еще обо всем Михаилу Давыдовичу Львову, он уралец, поэт, тоже, оказывается, через всё это прошел. Но поскольку я был наивный, я придавал этому такое значение, ну, почти как войне с США. И сейчас хочу сказать: ненавижу в этих организациях, так называемых КГБ-ФСБ, не только каждую ступень, но и каждый кирпич, каждый гвоздь, каждый крюк, на который они вешают свои шляпы со своих бездарных голов!

Лидия Сычева:

- Жизнь - обязанность и узы. Золотая или ржавая цепь. Кто-то рождается любить, кто-то - убивать. Принудить свободного и любящего ненавидеть - разве не насилие? Разве не унижение?

Но лопаются цепи - кандалные и драгоценные, летят паутины, рушатся памятники "железным феликсам" - право, карикатурные фигуры; и лишь человеческой жизнью, беззащитной, изначально появившейся для смерти, соединяются времена. Красотой и любовью соединяются.

Слушаю.

Валентин Сорокин:

- Прошло два года. Являюсь я в Москву из Саратова. Сам. Как Батый с монголо-татарами. Купил в Домодедове квартиру кооперативную, прописался. Кошмар, чего мне это стоило! Работаю. Выступаю. Продолжаю о России говорить. Значок "Русь" раздариваю, вручаю как диплом. Уже никто меня никуда не вызывает - ни пьяного, ни трезвого. Битый я, умный.

В Саратов ко мне приезжал Борис Ручьев. Седой поэт, заслуженный, настрадавшийся - десять лет на Колыме, десять по ссылкам. Для меня это такая честь - знаменитый поэт, сам, ко мне, Вале Сорокину, приехал! Остались мы с ним одни, на берегу Волги, я ему всё рассказал. Он говорит: не бойся, держись, ничего с тобой не сделают. Григорий

Иванович Коновалов тоже про меня всё знал. Это он однажды примчался ко мне ночью, с аэропорта, на такси: “Срочно что-то предпринимай, тебя завтра арестуют. У кого-то в Саратове нашли твои ходячие стихи”.

Речь шла о поэме “Отлучение”, которую я читал иногда в застолье. Боря Дедюхин, зав. отделом публицистики журнала “Волга”, где я тогда работал, распространил поэму среди друзей, хотя я брал с него слово, что он не будет этого делать. Но Боре нравились мои стихи - не сдержался. Когда я узнал, что поэма ушла, понял, что надо срочно что-то делать: о Льве Толстом речь идет, но подтекст ясный - о тех, кто русских от русских отлучает. Я кинулся к Олегу Попцову, да-да, тому самому, что потом своим экраном, экраном РТР, призывал к расстрелам и насилию. Тогда это был другой Попцов, сосем другой. Когда я ему рассказал, что меня могут цапнуть, он тут же поэму напечатал - с купюрами, да еще я её в прозу перевел... Цензура наша не вся ведь умная была. Мы вообще, живем, как лошади - начали жрать, поняли, что овес - вот такие мы люди!

И вот я живу в Подмосковье, работаю в Москве. Тихо. Но все же острая боль сидит во мне. И вдруг звонок: “Это Сорокин?” “Сорокин”. И потому как они спросили меня, я сразу догадался, что это опять, опять! Вот, как, допустим, заключенный мылся, мылся в бане, получил белье, надел и слышит - вошь ползет! Опять ползет! Такое мерзкое ощущение, что я задохнулся. Но не от страха, а от боли.

- Что вам надо?

- А ты как с нами говоришь?

- А как мне с вами говорить?

- Вы можете к нам прийти (называют место и время)?

- Не могу! Вы вызываете виноватых, а я перед вами ни в чем не виноват. И не пойду!

Время - полпервого дня. Я пришел веселый, побритый, может быть, выпить собирался, а тут - такой звонок. И приезжают - три человека - забирать меня одного! А я только недавно устроился, никому не мешаю. Главный редактор хорошо ко мне относится. Чего же еще меня калечить?! Я вот похвастался - купил кооператив. Да у меня брюк не было! Первый раз на работу ехать, я зашил брюки, стал гладить и уронил утюг. А перед этим накупил яиц и хлеба, чтобы не голодать. Утюг на эти яйца упал. И мой четырехлетний сын начал реветь - даже он понял, что есть нам теперь нечего!

Им - всё разрешено. Уже сам жест, как они показывают свои удостоверения, разрешает им на головы наши наступать и души ломать. А нам разрешено - только на электропровод бросаться.

Привезли. Включают лифт, считаю этажи - четвертый. Заводят в комнату - длинный узкий стол, за столом еще двое. Старшему лет под шестьдесят. Начинается допрос: писал или не писал? Говорил или не говорил?

А получилось вот что... Тяжело мне, конечно, седому человеку про это говорить... Влюбилась в меня одна женщина, Наталья Подчуфарова. Сама она стихи писала, прозу. Естественно, что я ей доверял. Она брала мою машинку печатать. Говорили мы часто весьма откровенно. И вот теперь мне дают текст, примерно такого содержания: "Русские! Вы забыли, что вы русские! Как вам не стыдно быть такими униженными! У вас врачи не свои, у вас поэты не свои, вы даже философов своих не знаете, историю свою не знаете, даже избы своей не знаете, что она у вас голая, как череп старухи! Вы не видите, что вам рожать не дают, что все молодые женщины обязательно должны сделать аборт, через нерусских врачей пройти, чтобы потом никогда не беременеть". Ну и дальше... "Это ваша работа?" Я говорю: нет, не моя, но мысли мои и некоторые обороты речи мои. "Вы распространили этот текст в Ленинской библиотеке". "С какой стати? Не было такого. И нет у меня ненависти ни к одной нации, в том числе и к евреям". Тогда я говорю: а я знаю, чья это работа. И еще: я русский человек, я люблю свой народ, свои песни, поэзию русскую люблю, я хочу стать сильным русским; не буду поэтом - не буду, но я стану мощным русским человеком, и не мешайте, не губите мою душу! Тогда они начинают переглядываться - что за тип перед ними? А я все время пью стаканами минеральную воду, потому что просто задыхаюсь от ярости. Они начинают пугать - покажем листовку Ручьеву, Татьяничевой, Федорову - вы же их любите! Напишите, чья это работа, если вы знаете. "Вот что я вам напишу, - и пишу, - к этой листовке я никакого отношения не имею. Я здесь ни при чем. Валентин Сорокин". И когда я писал, у меня рука ходила от угла до угла, настолько я был возбужден.

Лидия Сычева:

- Советский строй был крепко замешан на кровавом нутряном страхе. Марксизм-ленинизм требовал жертвоприношений - самых лучших, самых невинных, самых красивых - под пулю и нож. Страшна и нынешняя несправедливая смерть грешников - тихий расстрел у подъезда. Вера и милосердие окончательно разошлись.

Страшно?

Валентин Сорокин:

- К вопросу о страхе. Когда сидят мои родные хари - поэты, и выпивают, и говорят: "За мной слядять!" - никогда не верьте! Это либо честнейший трус, либо мерзкий провокатор. Клянусь в этом! Переживший такое, никогда не будет дешевить: "уберитя телефон, а то меня запишут". И не будет хвастаться: "Мне не страшно". А может быть, у меня от страха так ходила рука с ручкой. Потому что меня унижали: "Мы отцу, мы матери, мы сестрам расскажем - вы знаете, что вы натворили?! Вы - хуже диссидента!" А что я натворил?! Я жил своей болью - и всё!

Их много - я один. Мяли-мяли, мяли-мяли, а я пью и пью эту воду. И вот до чего дошло: вскочил я, ударил кулаком по столу и сказал: "Мерзавцы! Вот на этих кирпичках, на первом этаже окровавили и забили кол ниже спины Павлу Васильеву, убили его здесь - я ведь это точно знаю! Вы Бориса Корнилова убили здесь. Не вы, так такие же, как вы. Вы ни одному поколению русских поэтов не дали вырасти. И до меня, мерзавцы, добрались. И я клянусь - как перед Богом, - что если вы сейчас от меня не отстанете, то я развернусь, вышибу ваши поганые рамы и выброшусь!"

И тогда самый пожилой из них, видимо, главный, вскочил и стал меня успокаивать: "Валентин! Что вы - сейчас другое время, другая эпоха. Что вы? Вы - свободны!" Я говорю: "Нет, не свободен! Вот как вы сюда меня завезли, завели, так и выведите!" Седой захохотал: "Ничего себе! Ну, кого хотите себе в провожатые?" А среди них сидел человек - с хорошим лицом, - и я заметил, что когда мне становилось очень тяжело, он грустнел. "Ему - верю". Вышли мы с ним, познакомились. Коля, Николай Иванович Никандров, сибиряк. Говорит мне: "Как ты себя ведешь! Я еще никогда таких бешеных не

видел! Пока я жив, с твоей головы ни один волос не упадет. Какой честный парень! Будь здоров!" "Подожди! Проведи меня через площадь". "Ты что, боишься?" "Не боюсь. Но - проведи..."

Я потом думал про этого Колю - может быть, специально так рассчитано, - три палача душат, а один жалеет. Как у декабристов - да, вот извини, что я петлю тебе плохую сделал. Но у нас потом было несколько встреч с Колей - он мне оставил телефон свой: "С таким характером, как у тебя, будет нелегко. Если что случится, звони. Ну, держись". Я говорю: "А я знаю, кто на меня донос написал!" Он смеется: "Да, сорок пять страниц..."

Лидия Сычева:

- Из поэмы "Красный волгарь", 1972 - 1973 гг.:

Бабы дуры, бабы дуры,

Бабы - странные натуры:

Нет стабильности у баб, -

Из колдобины в ухаб...

Разбухающая талья,

Архирейха Наталья

Полчуфарова,

Иль Уварова,

Иль еще иных кровей?

Куньи дужки бровей,

Разбитной, стыдливый носик,

Щебет павоньки - доносик

На Степана Разина:

- Он же тать, орясина,

Своенравен казак,

И разэтак, и растак,

Укокошьте дикаря,

А не то столкнет царя!.. -

А сама без ума,

Задохнулась пьяно,

Штормовые весьма

Ласки у Степана.

.....

...Мне, щенку худой дерюги,

Заявить не лишнего:

- Все апостолы - бандюги,

Холуи всевышнего! -

Серебреет,

Розовеет,

Веет странствиями,

Веет.

Валентин Сорокин:

- Что же мне вся эта трагедия подарила? Я увидел то, что не все люди с Лубянки одинаковые. Тот же Коля, Николай Иванович. Младший мой сын - ему был тогда год - попадает с двусторонним воспалением легких в больницу. Врач вызывает меня: если через час-полтора не положите его в хорошую больницу, то мы уже ничего сделать не сможем, умрет. Я в такси, Алешку, жену - и в Москву. Как паспорт покажу - нет московской прописки - его не кладут. Шесть больниц объехал - никуда. И тогда я вспомнил, что у меня есть этот номер. Звоню ночью, с автомата на площади Восстания. "Что случилось?" - его голос. "Парень у меня заболел, минут тридцать осталось..." Через пять минут он назвал мне номер больницы и фамилию врача - и мы почти влетели в приемное отделение. Алешке сделали переливание крови, я всю ночь простоял внизу, у окна...

Когда я работал над циклом поэм "Огонь", мне казалось, что я не доживу до этой книги. Сажусь в электричку, ехать долго - только в один конец до работы четыре часа. Я был такой фанатик - нет, не во имя денег, если бы я был молчаливым и сговорчивым, я бы, конечно, жил сытнее. Но нищим, слава Богу, никогда не был и не унижался. Во имя своего призвания я ездил. Потому что понимал - как только останусь один - самопогибну. Это всё равно, что на клокочущий вулкан бронзовую шляпу одеть, - такое было состояние. И вот я сажусь в электричку, начинается драка, и у меня этот "Огонь" вышибают из рук, - первый экземпляр, завтра со всеми правками сдавать в издательство! А что такое строчку поправить - это очень тяжело, она же вынашивается! Полгода работы насмарку. Кому-то понадобилось. Стали меня так донимать. Потом сбили и поломали пальцы на руках. Я решил отомстить - знал кому и догадывался ведь, чьи это дела. Пришел к одному полковнику, и он мне дал понять: ничего не высидишь, перетерпи лучше. Я позвонил Ивану Фотиевичу Стаднюку, попросил совета. "Валь, - говорит, - тебя вообще могут убить, и ничего никому не будет. Ты в таком положении - многие клерки на полном серьезе считают тебя очень вредным, антисоветским человеком".

Я не был антисоветским. Я и сейчас считаю, что был очень советским. Для меня было

так - быть русским, а потом всё остальное. Так что более советского, чем я, нет до сих пор. Посоветовался со своими друзьями - Иваном Акуловым и Иваном Шевцовым, они старше меня намного, фронтовики. "Терпи", - говорят. А до этого я получал соответствующие письма, последнее было таким: "Запомни! Отсчитай, гад, от своего дома пятый столб, на котором мы тебя вздернем и забьем твой поганый русский рот твоей поганой русской землей! Помни: Христа распяли, когда ему было 33, а ты уже старше". Я помню это письмо наизусть, приехал, дал его Николаю Васильевичу Свиридову. Он как-то заволновался, запечалился, и я понял, что помощи не будет мне от министра.

Конечно, за многие свои обиды я мстил - так, как поэт может мстить, - стихами. Допустим, в поэме "Красный волгарь": "На крови чужой добрели, // С перепоев корчились. // Архиереи захирели, // Кляззы закончились". Ясно же, о чем речь. Ведомство меня читало и время от времени беспокоило звонками: "А вы ничего не забыли..." Нельзя ничего забывать и такие вещи прощать. Можно ссориться, можно воевать, можно даже стрелять друг в друга. Я за Россию воюю, а самурай, допустим, за мой Сахалин. Пожалуйста, воюй! Но я не обязан писать донос на японца. Он на меня - тоже не обязан и не должен. Архиереи не библейские, а цэковские...

В те годы, в те месяцы, я написал цикл стихов о Лермонтове. Я нес под своим сердцем ковши, ведра русских слёз! Слушайте:

Россия! Родина поэтов,

Пути судьбы моей темны,

Глаза, как дуло пистолетов,

И на меня наведены.

Вот, в штатском галстуке, Мартынов

Сидит в кафе и водку пьет,

Не под скалою, так у тына

Меня в затылок он убьет.

Кого, кого он ищет взором?

Кто брат его?

Кто друг?

Кто бог?

Покрыл он прошлое позором,

Но спеться с будущим - не смог.

Умов слепое бездорожье

Трагедий века не решит,

Меня, взлетевшего над ложью,

Могильный крест не утрашит!

Россия! Голову я поднял!

И слово выгранил, как меч.

Убереги меня сегодня,

Ведь завтра - некого беречь...

Это - август. 14-го августа меня допрашивали, а это примерно 15 или 16 августа 70-го года.

Да, это огромный опыт. И я стал знать - очень быстро после всего этого: кто за столом врет о пережитом, кто доносит, кто может донести, кто просто мерзавец. Я с полуслова стал знать этих людей. И мне стало страшно.

Как-то я сижу в аэропорту Домодедово, жду вылета, и, кряхтя, ко мне пытается подсесть, замурзанный и расстроенный, как бы измятый, но всё ещё интеллигентный тип, а сумку, огромную, под кожу сработанную, еле волокет, изгибаясь, потея и морщась. Я подскочил, схватил сумку и под кресло, удивляясь её тяжести - чугунная. А он её - к себе рвет, а я не отпускаю, к себе тащу. Смутились.

Я заметил странное постукивание и позвякивание в сумке, ну, словно бы живая свинья хрустальных рюмочек наглotalась... Всматриваюсь в хозяина сумки, он всматривается в меня - узнали: тот, челябинский кэгэбэшный ангел!..

- Здравствуйте!..

- Здравствуйте!..

- Чего, приборчики жуковатые на Южный Урал доставляете?.. - Он смутился, совершенно подавленный и безвольный.

- Вы же, землячок, чуть меня не загубили и продолжаете этой могильной фуйнёй заниматься, а?

- Такая служба, вы зря, вы зря!.. - Совершенно подавленный, уж не помочились ли ему на головёнку в их логове на Лубянке, время кипело: разрушали СССР, и ему, возможно, начинало изменять призвание?..

Никогда я не поверю в то, что одаренный человек свяжет свою судьбу с ними - скорее умрет. Думаю и связь с ними Евтушенко - враньё? Да и разговоры о связях с ними Солженицына... Враньё? Хотя оба разрушители СССР, изменники.

Зачем Солженицыну связываться с ними, когда его сын и набивший оскомину Ростропович тиликали на скрипках на Манежной, между Дворцом Советов, Домом Советов, “Белым Домом”, как подчёркивают “демократы”, и между Кремлём - в дни народного восстания в Москве осенью 1993 года, в дни расстрела Ельциным русских патриотов? Прокладки?..

А Женя Евтушенко даже и в 1991 году, осенью, успел поподражать вождю Революции, Ленину, взобравшись вместе с Борисом Николаевичем Ельциным на чуть ли не музейный танк - речи в толпу кидать. Жиганы.

В доме при горисполкоме _*

1

Был в доме этом Гоголь,

Крылов, Тургенев, Пушкин, -

Великих в мире много ль?

Таланты - не пампушки.

Гербы дверей и ручек,

Диваны да паркеты.

И бабушек, и внучек,

И дедушек портреты.

Тома библиотеки,

Картины в залах,

бюсты.

И чисто, как в аптеке,

Кругом бело - до хруста.

Варили и стирали.

Смеялись и шептались.

Дворяне умирали.

Дворяне нарождались.

Обеды задавали.

И плакали и пели.

Мазурку танцевали.

О бедных не радели.

2

А бедных повсеместно,

Куда ни кинь, навалом.

А бедные, известно,

Не бредят карнавалом.

Возглавил бедных Осип,

Мятежный Осип Шлитцер.

В народ стихи подбросил:

“С дворянством

на смерть

биться!”

Октябрьские вулканы

Зарокотали сразу.

Топчи царевы кланы

И выметай заразу.

Насыпали тротила

В утробу,

в брюхо дому,

Шнур провели - хватило,

Затрясся край от грому.

Картины улетали

И бюсты, и портреты

В космические дали,

В грядущие рассветы.

В угоду ревзакону,

А не дурной потере,

Обрушили балконы

И косяки, и двери.

3

Тургенев, Пушкин, Гоголь,

Крылов и Достоевский -

Дворяне, а не оголь,

Сам генерал Раевский.

И Герцен, и Шаляпин

Стучали в те ворота.

“Взорвать!”

И дело в шляпе.

Ведь Шлитцер - глас народа.

Ведь Шлитцер агитатор,

Страдалец-пролетарий.

Пал в буре император.

Ни плясок и ни арий.

Отобрано богатство

У дармоедов грязных.

И равенство, и братство

Среди губерний разных.

Снесли обломки в кучу,

Бензин в Москве взболтнули,

Костер вздохнул трескуче,

Аж южно стало в Туле.

И на площадке - митинг,

Лопаты,

шапки,

лица,

И, точно в море викинг,

С трибуны правит Шлитцер.

Красивый, возбужденный,

Толкает речь до поту,

Медалью награжденный

За честную работу.

И завладев собачной,

Явил вожак пытливость

И в общем-то удачно

Взял курс на справедливость.

4

Не каждый век разумен,

Но наш - не сыщешь выше.

Лишь Осип Шлитцер умер,

Указ великий вышел:

“Восстановить именье,

И стены и балконы!”

Общественного мненья

Пугаются законы.

В любом углу не пусто,

Едва приняла меры,

На свалке

столько бюстов

Отрыли пионеры.

И Пушкин тут и Гоголь,

Толстой и Достоевский,

А вот - взирает строго,

Князь, легендарный Невский.

Жуковский, Греч знакомо

Задумались,

отлично,

Им в свежих стенах дома,

Как в мусорке, привычно.

Ударно восстановим

И нации покажем.

А в юбилей, не внове,

Подробности докажем.

5

Экскурсовод прорабом

Служил,

теперь - директор.

Назло бытоухабам

Открыл научный сектор.

“Здесь жил, работал Шлитцер”.

Доска пока на псарне.

Не надо торопиться,

В архивах - не в пекарне.

И позже буквы броско

Намалевал он, леший,

И перевесил доску

На особняк воскресший.

Горит, как на экране,

Доска,

важней столице

Не классики-дворяне

А правдолюбец Шлитцер.

Директор не утишен,

Герой в пылу полемик

О Шлитцере напишет

И будет - академик.

Дань прошлому сердечна,

Но за неё ль держаться?

Да, перестройке вечно

В России продолжаться!..

С 1993 по 1995 гг. длился гнусный суд над редактором газеты “Пульс Тушино”, поэтом Владимиром Фомичевым, обвиненным в шовинизме и прочих грехах, так вот, моя баллада “фигурировала уликой” моему другу, и я давал объяснения прокуратуре: почему - Шлитцер?..

- А почему - Штирлиц? - допытываюсь у прокурора. Прокурор башкою трясет, и я трясую башкою. Бараны?..

Я говорю сегодня об этом, а в экране телевизора хоронят царские останки... Нагремели костями каждому взрослому, каждому ребёнку. В 1917-м частную собственность ликвидировали, а в 1991-м году общественную собственность вору и палачам раздарили - как русский народ выживет и сохранится, как?!

Иногда мне, усталому, кажется: мы, русские, уже самим себе не нужны. Грустно?.. Но в грусти - Крест поэта. Доля поэта... Путь на Голгофу.

Ордынская манера чека давить на тебя, подминать тебя, обязывать тебя тому, что ты готов собственной смертью отвергнуть, - трагедия народа, русского народа, полууничтоженного мерзавцами. Раны от их ягодковских когтей - не только душу мою кровянят, но и на стихах моих кровь рдеет...

Когда-то

Не ройся в моей душе,

Придирчиво и оголтело,

Я - преданный сын,

и уже

Характер не переделать.

Живу и люблю звеня,

И как ни пришлось бы мучиться,

Доносчика из меня,

Уверен я, - не получится.

О, сколько же палачей

Гуляет на праздниках Родины,

От патоки их речей

Тошнее, чем от блевотины.

Ты, пасынок, из громил,

Меня приручить готовясь,

Надеешься, мол, сломил

И волю его и совесть?

Не враг я чужой судьбе,

Не друг я беде-туману.

До воли моей тебе,

Как до звезды, болвану!

Это - 1965 год, но и сегодня, развалив СССР, совместно с реформаторами политсыщики не покаются: лакеи - лакеи, казнители - казнители!

Лидия Сычева:

- Несговорчивые, строптивые, недовольные, обиженные советским временем (жизнь одна!) - оказывались за границей. И дело было не в степени таланта или корысти: в Вермонте затворничал Солженицын, на свободных радио шепелявили знакомые голоса. В СССР сняли документальный фильм - о некоем диссиденте Сорокине из Челябинска.

Валентин Сорокин:

- Может быть, своей яростью и честностью я кого-то уговорил - не ведая о том! - не быть жестоким. Не быть и понимать - не всех можно казнить и не всех можно сломать.

Я намного повзрослел в те годы. Но если бы, допустим, меня посадили или осудили - я бы не смог сбежать. Я даже боялся, что они что-то натворят и выбросят меня. Боялся! А они, идиоты, 13 лет боялись, что я поеду за границу и сбегу. Во, дураки! Вся жизнь моя - как русский огонь передо мной пробежала - куда я пойду - их, мерзавцев, уже нет. Если даже они живы и здоровы - их всё равно нет. А я всё здесь. Только седее и седее. Вот если бы я не справился, если бы стал диссидентом, негодяем... Почему они для меня - предатели? Разве я меньше пережил? Мне ведь было не легче, чем им. Они не любили, а я любил. Они предавали, а я - верный. А били нас по зубам одинаково, и одинаково души мяли нам.

Почему я потом книгу - "Крест поэта" - написал? Я не давал никаких клятв и обещаний, а просто стал изучать судьбы русских поэтов; думаю, сколько же погублено, и стал как бы самому себе помогать, помогать выжить. И когда через 30 лет я добился дела Павла Васильева, я увидел, какой он! Это мерзавцы его обвиняют, что он раскололся; они сами бы раскололись, заложили и предали бы, да ещё и диссидентами стали б. Он, избитый, говорит в порыве: "Я всё что хотите вам подпишу, перестаньте меня калечить и увечить меня". А дальше, он на другой день очухался и пишет: "Я ничего подписывать не буду", - и начинает снова бунтовать, как молодой император, который отвоевывает свои земли заново. Вот чем гордиться надо! А мы гордимся диссидентами. Ну, что вот мое горе взять и горе Галича?! Галич, может быть, честнее меня, талантливее меня, и, может быть, физиономия у него более русская, чем у меня, русского. Но ведь он-то туда уехал, а я - не смог. Меня бы распяли, а я - не смог. Так меня ведь больше любить надо, даже негодяю, не уехавшему из России, меня надо больше любить. Даже мертвого.

Лидия Сычева:

- Книга "Крест поэта" застряла в издательстве "Голос". Я листала сигнальный экземпляр и думала, что в издательских неурядицах - спасение автора. Поэты не ошибаются в пророчествах: "Кого о счастье не спроси я, // Судьбой заласканного нет, // Зачем мне кажется, Россия, // Что я последний твой поэт?"

Но пока - бывает зима и лето, весна и осень. Пока - есть другие стихи и даже книжки. Ещё есть время....

Люби меня

Зачем твои груди таятся под белой рубашкой?

Они ведь, зарею омытые, позолотели?..

К тебе пробирался я с пикой да с грубою шашкой,

Да с атомной бомбой летел в хиросимской метели.

Мужчины, тебя мы делили на воду и сушу

И двигали жутко победные армии к маю,

Теперь отрезвели: твою полнолунную душу

В ночи необъятной я к звездам один поднимаю.

И очи твои, Богородицы вечные очи,

Целую глубоко, хочу тебе пламенем этим,

Молитвой, что юности нашей умней и короче,

Поклясться и снова исчезнуть в мятежном рассвете.

Люби меня, чуткого, сильного, умного зверя,

Люби меня, русского витязя и стихотворца,

Скачу я, скачу я: Россия для русских - потеря,

И к русской могиле антихрист оплакивать рвется.

Ты нежностью веешь, ты веешь покоем и домом,

И все преступленья, кровавые смуты прости нам,

Бывает такое - как в озере нам не знакомом

Одна вдруг качнется, до боли родная, тростнина.

Не надо бороться, ну даже, допустим, с врагами,

Не надо свиваться в единую песню с тобою,

Вон лодка пустая у берега ходит кругами,

И скоро пространство поглотит её голубое.

Вот и всё.

1995 -1998

* Баллада написана в 1985 году.